

ВОЛШЕБНЫЙ ФОНАРЬ

1. ДАЧА

Профессорская дача на берегу Финского залива. В отсутствие хозяина, друга моего отца, нашей семье позволялось там жить. Даже спустя десятилетия помню, как после утомительной дороги из города меня обволакивала прохлада деревянного дома, как собирала растрясшееся, распавшееся в экипаже тело. Эта прохлада не была связана со свежестью, скорее, как ни странно, – с упоительной затхлостью, в которой слились ароматы старых книг и многочисленных океанских трофеев, непонятно как доставшихся профессору-юристу. Распространяя солоноватый запах, на полках лежали засушенные морские звезды, перламутровые раковины, резные маски, пробковый шлем и даже игла рыбы-иглы.

Аккуратно отодвигая дары моря, я доставал с полок книги, садился по-турецки в кресло с самшитовыми подлокотниками и читал. Листал страницы правой рукой, а левая сжимала кусок хлеба с маслом и сахаром. Откусывал задумчиво и читал, и сахар скрипел на моих зубах. Это были жюль-верновские романы или журнальные, переплетенные в кожу, описания экзотических стран – мир неведомый, недоступный и от юриспруденции бесконечно далекий. На своей даче профессор собрал, очевидно, то, о чем ему мечталось с детства, что не предусматривалось его нынешним положением и не регулировалось Сводом законов Российской империи. В милых его сердцу странах законов, подозреваю, не было вообще.

Время от времени я поднимал глаза от книги и, наблюдая угасание залива за окном, пытался понять, как становятся юристами. Мечтают

об этом с детства? Сомнительно. В детстве я мечтал быть дирижером или, скажем, брандмейстером, но юристом – никогда. Еще я представлял себе, будто остался в этой прохладной комнате навеки, живу в ней, как в капсуле, а за окном перемены, перевороты, землетрясения и нет там больше ни сахара, ни масла, ни даже Российской империи – и только я всё сижу и читаю, читаю... Дальнейшая жизнь показала, что с сахаром и маслом я угадал, а вот сидеть и читать – этого, увы, не получилось.

(282 слова)

2. ПАРК

Мы в Полежаевском парке, середина июня. Там течет речка Лиговка – она небольшая совсем, но в парке превращается в озеро. На воде – лодки, на траве – клетчатые пледы, скатерти с бахромой, самовары. Я наблюдаю за тем, как компания, сидящая неподалеку, заводит патефон. Кто именно сидит – уже не помню, но всё еще вижу, как вращается ручка. Через мгновение раздается музыка – хриплая, заикающаяся, и всё же – музыка.

Ящик, полный маленьких, простуженных, поющих, пусть извне и невидимых, – у меня такого не было, и как же я хотел им обладать: заботиться о нём, лелеять, ставить зимой у печи, но главное – заводить его с царственной небрежностью, как делают вещь давно привычную. Вращение ручки казалось мне простой и одновременно неочевидной причиной лившихся звуков, своего рода универсальной отмычкой к прекрасному. Было в этом что-то моцартовское, что-то от взмаха дирижерской палочки, оживляющего немые инструменты и земными законами также не вполне объяснимого. Я, бывало, дирижировал наедине с собой, напевая услышанные мелодии, и неплохо у меня получалось. Если бы не

мечта стать брандмейстером, то хотел бы я быть, конечно же, дирижером.

В тот июньский день мы видели и дирижера. С послушным его руке оркестром он потихоньку удалялся от берега. Не парковый был оркестр, не духовой – симфонический. Стоял на плоту, непонятно как поместившись, и по воде растекалась его музыка, и ее вполуха слушали отдыхающие. Вокруг плота плавали лодки, утки, слышны были то скрип уключин, то кряканье, но всё это легко вращалось в музыку и принималось дирижером в целом благосклонно. Окруженный музыкантами, дирижер был в то же время одинок: есть в этой профессии непостижимый трагизм. Он, быть может, выражен не так ярко, как у брандмейстера, поскольку не связан ни с огнем, ни с внешними обстоятельствами вообще, но эта внутренняя, скрытая его природа жжет сердца тем сильнее.

(282 слова)

3. НЕВСКИЙ

Я видел, как по Невскому ехали тушить пожар – ранней осенью, на исходе дня. Впереди на вороном коне – «скачок» (так называли передового всадника пожарного обоза), с трубой у рта, как ангел Апокалипсиса. Скачок трубит, расчищая путь, и все бросаются врассыпную. Извозчики хлещут лошадей, прижимают их к обочинам и замирают, стоя к пожарным вполоборота. И вот по бурлящему Невскому в образовавшейся пустоте мчится колесница, несущая огнеборцев: они сидят на длинной лавке, спиной друг к другу, в медных касках, и над ними развевается знамя пожарной части; у знамени – брандмейстер, он звонит в колокол. В своем бесстрашии пожарные трагичны, на их лицах игра-

ют отблески пламени, которое уже где-то разгорелось, уже где-то их ждет, до поры невидимое.

На едущих печально слетают огненно-желтые листья из Екатерининского сада, где свой пожар. Мы с мамой стоим у кованой решетки и наблюдаем, как невесомость листьев передается обозу: он медленно отрывается от брусчатки и на небольшой высоте летит над Невским. За линейкой с пожарными проплывает повозка с паровым насосом (из котла – пар, из трубы – дым), за ней – медицинский фургон, чтобы спасти обожжённых. Я плачу, и мама говорит, чтобы я не боялся, только ведь плачу я не от страха – от избытка чувств, от восхищения мужеством и великой славой этих людей, оттого, что так торжественно они плывут мимо замершей толпы под колокольный звон.

Я очень хотел стать брандмейстером и всякий раз, видя пожарных, обращал к ним беззвучную просьбу принять меня в их ряды. Она, понятно, не была услышана, но сейчас, спустя годы, я об этом не жалею. Тогда же, проезжая по Невскому на империале, я неизменно представлял, что направляюсь на пожар: держался торжественно и немного грустно, и не знал, как там всё ещё сложится при тушении, и ловил восторженные взгляды, и на приветствия толпы, слегка откинув голову набок, отвечал одними глазами.

(289 слов)